

Камень, ножницы, бумага

повесть

Время — наше, мирная жизнь. Городок в средней полосе России, в стороне от железной дороги, от большого шоссе. Есть река, есть храм.

В центре города — дом Ксении Николаевны Кныш. Дом одноэтажный, но большой. Пельменная возле дома тоже ее. Кныш — глава районного законодательного собрания. Ей пятьдесят семь лет.

Утро, вторник, седьмое марта. Ксения Николаевна на крыльце с Пахомовой, директором общеобразовательной школы. В руках у Пахомовой — поздравительный адрес, желтенькие цветы:

— Здоровья вам, Ксения Николаевна, счастья, благополучия! Многих лет вам на благо города!

Ксения кивает, войти не зовет. В папке — листочки.

— Опять попрошайничаем, Пахомова?

— Ой, что вы! Писания соседа вашего, в компьютере лежали, в учительской. Все же теперь на компьютерах, полюбуйте. Не надо, я считаю, где ни попадя оставлять. Но уж вы никому, Ксеничка Николаевна, народ у нас, сами знаете...

Ксения, сурово:

— Ознакомимся.

Улыбается все-таки: всех вас, весь ваш женский коллектив — с праздником! — и домой, читать. Сосед — враг. Молитесь за врагов ваших. Да молится она, молится, что ни день...

Мне сорок лет, и я хорошо себя чувствую, но после сорока смерть не считается уже безвременной, а потому пора мне собраться с силами и записать. Мысли неотвязные, недодуманные... Сорок лет. Слабеет вера в человека, а значит — и в Бога. Зачем все это, зачем? Будто сижу спиной к движению и смотрю в окно. А там — прошлое, только прошлое. Сорок лет — чем не повод разобраться с прошлым?

Я учитель русского языка и литературы, не женат и бездетен. Всю свою жизнь за вычетом той, что прошла в Калининском университете (неприятный, забытый сон), живу в нашем городе. Здесь красиво невесе-

лой среднерусской красотой. Если не видеть сделанное человеком, очень красиво. Тут я, по-видимому, навсегда: тут родился, тут и умру — прежде, в юности, меня эта мысль угнетала, теперь нет. Живется мне, конечно, чуть одиноко, в особенности зимой, когда в пять уже совершенно темно, и сразу лишаешься того, без чего жизнь неполна, — реки, деревьев, соседских домов. Спать мне не грозит, я не переношу алкоголя, а сочинять — пробовал, как всякий бы, наверное, в моем положении. Прочтут и обалдеют — таковы истоки моего «творчества». Да и кто, собственно, обалдеет? Несколько учителей-мужчин — вся наша интеллигенция. Врачей и священника к интеллигенции не отнесешь, а женщины в школе у нас безликие и какие-то обремененные, по большей части замужем за мелким начальством. «Каков диаметр Земли? — спрашивает у ребят географ. — Не знаешь? Плохо. Земля — наша мать». Эту шутку он повторяет лет двадцать, но никто, включая учителей, не потрудился узнать ответ: зачем? — мы никуда не ездим, Земля нам не кажется круглой. А географ скоро умрет от рака: тут всё про всех знают, особенно плохое.

«Отслужу в армии, отсижу срок...» — сказал недавно один деревенский мальчик мечтательно, мы обсуждали с ним будущее. Годы учения и странствий — так это называется? Вот мальчиков из моих первых выпусков почти что и не нет в живых: наркотики, коммерция, боевые действия — я огорчился сперва, а теперь, страшно сказать, устал жалеть их, привык. Девочки — те в основном уцелели, каждый год по несколько моих выпускниц поступают в университеты и академии — в Твери, Ярославле, даже в Москве. Девочки и мне симпатичнее, и сами хотят понравиться: я человек нестарый и несемейный, мы устраиваем литературные вечера, дом у меня большой. Литературные четверги — так мы их называем, очень все целомудренно: чай, стихи, проза. Я люблю радоваться и радовать. И даже грустная, очень грустная история с Верочкой Жидковой меня не расхолодила.

У нас есть река, и нет железной дороги — на десятки километров кругом. Говорят, это мешает промышленности, но железная дорога — это ведь несвобода, зло. Как ее ненавидел Толстой и как любили большевики! Наш паровоз вперед летит, и все прочее. Тормозной путь полтора километра — шутка ли? Иное дело автомобиль. Эх, был бы он у меня! Водить то — уж как-нибудь. Сел бы за руль и отправился в Пушкинские Горы, а то и в Болдино, побродил по святым местам, а там бы, глядишь, встретил учительницу, свободную, одинокую. Лежу иногда без сна, сочиняю свои диалоги с ней. Ребячество? — ну и пусть. «Как вам экскурсия?» — спрошу я ее, и она мне ответит не очень впад, но так, чтоб я распознал цитату: «Затейливо». Скоро признаюсь: «Я полюбил вас с той минуты, как увидел вас. — Может быть, не так в лоб, но что-то похожее. Она засмеется, словно бы не поверит. — Клянусь». Учительница нахмурится: «Не клянитесь ни небом, ни землею». А я закончу: «Ни веселым именем Пушкина». Осмотрев достопримечательность, поедем ко мне — без разговоров и договоров. В машине сыграем в игру. «Песнь песней», — скажу, а она отве-

тит: «Сказка сказок». Я продолжу: «Святая святых», — «Сорок сороков», — «Суета сует», — «Конец концов», — «Веки веков», — и она подумает немножко и сдастся.

Мало ли в какую можно игру поиграть, да только машины у меня нет как нет. А будь я порасторопнее, продал бы половину своей земли (участок большой, и кроме сорняков на нем почти ничего не растет), перестроил бы дом и на машину б хватило, и даже осталось бы. Земля у нас за последние годы подорожала раз в пятьдесят. Так что человек я весьма обеспеченный, только распорядиться богатством своим не могу. Если честно — не особенно и стремлюсь. Провинциальному учителю бедность к лицу — ведь так? Мне живется тепло. Опасно, грязно и пахнет, конечно, пахнет, не станем метафору продолжать.

У меня изумительные родители, у деревенского мальчика (отслужу-отсизжу) таких нет. Грубая жизнь — с рождения, магазин ограбит, не оттого, что голоден, а из удали, или выпьет и подерется с кем-нибудь — как такого судить? А если одноклассницу изнасилует? А если человека убьет? С какого момента ребенок начинает отвечать за свои поступки и начинает ли?

Одного мальчика лет шести, очень легко одетого, я подобрал перед Новым годом на автостанции: он пришел побираться — думаю, в первый раз, и еще не знал, как подступиться к этому. Взял я его на елку к дачникам, помыли мальчика, приодели, надавали разных вещей, отправился его провозжать. «Наша квартира», — показывает, а там комната такая, безо всего, только лампочка под потолком и кровать железная, а поверх, на куче тряпья, — голый дядька, грязный, пьяный, и запах. Я дядьку прикрыл, попытался что-то ему втолковать — про сына, мешки с вещами, про то, что порядок нужен, а он меня спрашивает: «Православный?» Я замялся — что за вопрос? — а дядька присел, качнулся так: «Русский?» «Да, — отвечаю, — русский». «И зачем тебе — вещи, порядок? Мне вот, — говорит, — ни-че-го не надо». Но почему? Он и сам как будто бы удивлен. А сына его я на следующий день опять встретил у автостанции. Не признал меня, рассказывает захлеб: «Вчера в таком доме был! Во живут москвичи!.. Наворова-а-ли!»

То — дети. А взрослый народ и впрямь совершенно себя позабыл. Почти никто, например, не помнит телефонного кода нашего города — не даем мы свой номер никому за его пределами, не чувствуем себя частью целого. Будда, Сократ, Толстой, а вот я — житель такого-то городка, телефонный номер такой-то, — вот как должно быть устроено, правда же? В глубины народного сознания и прочее верят теперь только дачники, а местные телевизор смотрят. Не от усталости, не потому, что тяжелая жизнь, она легкая, неголодная, а чтобы дырку заполнить, чем-то себя занять.

Вернемся к моей ситуации. Родители живы, оба на пенсии: папа преподавал английский, мама начальные классы вела, от меня внуков не дождалась, переселились в Москву: там театры, выставки, там сестра моя

живет младшая. Родители любят друг друга и нас с сестрой. Бунта против мира взрослых у меня никогда не было. Говорят, юность без бунта неполноценна — я так не думаю.

Итак, близкие живы, и в списке моих потерь Верочка — самая главная, по существу единственная. Три года прошло, как как не стало ее, а вспоминаю Верочку ежедневно, даже, может быть, ежечасно. Всегда — когда сталкиваюсь с живыми, умными девочками, а они среди моих учениц есть. Одна тут недавно спросила: «Раз запятые ставят по правилам, то, может, они вообще не нужны?» Отчего самому мне этот вопрос не пришел в голову? «Надо подумать, — говорю ей, — надо подумать». Ради таких вот умненьких и работаю.

Чтобы покончить с дачниками: незадолго до Верочкиного отъезда сидели мы с ней на веранде и писали для моей выпускницы Полины вступительное сочинение в какой-то бессмысленный вуз. Академия сервиса, кажется: берут всех подряд, телефоны на экзаменах не отнимают, так что мы себе пили чаек и наперебой отправляли Полине текстовые сообщения. Тема досталась такая: «Духовный мир провинциальных дворян в романе „Евгений Онегин“». Всему, что мы пишем, Полина, предполагалось, придаст развитие.

Пишем: «Этот мир представлен в романе со второй главы по начало седьмой. Онегин бежит сюда из мира большого, из Петербурга. Незатейливое простодушие деревенских соседей, — Он в том покое поселился, / Где деревенский старожил... Интересы: Их разговор благоразумный / О сенокосе, о вине, / О псарне, о своей родне. Живущих в провинции отличают простота, непосредственность интересов, однообразный уклад, не любовь, а скорее привычка друг к другу. Неструктурированный день, много свободного времени: Татьяна в тишине лесов / Одна с опасной книгой бродит... У людей с душой происходит расцвет иллюзорного мира: Вдыхает и, себе присвоя / Чужой восторг, чужую грусть... Главная особенность провинции — отсутствие настоящих жизненных впечатлений, особенно у женщин». Так и написали: «особенность» — «особенно», потому что спешили. «Еще?» — спрашиваем, — «Да, да, please!». «Серьезное отношение к жизненным принципам: родись Татьяна в Петербурге, она не достигла бы той искренности ни при первом объяснении с Онегиным, ни при последующих. Строгость и простота не те, что в столицах. Онегин живет по столичным законам, которые не подразумевают ни искренности, ни глубины. По небрежности убивает Ленского, делает несчастной Татьяну. Разумеется, в провинциальной жизни, как и в столичной, есть и чванство, и глупость, и шутовство, в откровенных, гротескных формах, так что не следует, — советуем мы Полине, — идеализировать ситуацию». Она поблагодарила нас, пора уже было переписывать набело, а мы подумали с Верочкой: Онегин в деревне — это про наших дачников, разве нет?

Те, кто попроще, ходят в жару полуголыми, в Москве они так себя не ведут. Дачники покультурнее не хотят обижать никого, и все равно обижают. Питерские чуть отличаются: у них имена-отчества, у москвичей

остались одни имена. Где-то в столицах диссертации защищают, книги издают, происходит что-то существенное, литераторы хлопают друг друга по физиономиям, а тут — нельзя же всерьез принимать эту милую, теплую, грязенькую жизнь. Несерьезная влюбленность, несерьезные правила поведения. Заглянут по дороге с реки ко мне, от меня — в пельменную: посидеть, потусить, как теперь выражаются. Лето закончится, и — до лучших времен: дайте знать, когда соберетесь к нам в Белокаменную.

Я и сам подвержен приступам страшной лени всех разновидностей — душевной, духовной, физической, — и быть учителем нравственности не хочу, мне бы со своим предметом управиться, а все-таки ужасную досаду вызывают иные воспоминания. Как бы не было тяжело жить монахом и как бы мало я не испытывал в своей жизни радостей женской любви, а с появлением Верочки отказался и от того, что имел. Служить развлечением дачницам: сельский учитель словесности, энтузиаст, давайте-ка приблизим его к себе, что это он до сих пор неохваченный? — нет уж, с этим расстаться не жаль.

Про Верочку. Верочка хороша была до такой степени, что все мужчины, кроме последних пропойц, останавливались, оборачивались, а то и вслед ей шли. В жесте, в движении — рук, головы, плеч — никакой угловатости, неловкости, никогда. Училась она в моем классе лет с четырнадцати и до выпуска — я только старшие классы веду. «Зачем не с глаголами писать отдельно? Хоть вы объясните мне! — вот первое, что я услышал от Верочки. — Как удобно было бы — нехочу, не люблю!». Поглядел я тогда внимательно на нее и подумал: вот она, жертва, классическая, или теперь подверстываю воспоминания к дальнейшему?

Верочка очень ко мне тянулась. Да и я любил Верочку. Конечно, любил, но сам же и обрывал ее, когда она пробовала объясниться, какая я пара ей? И ученица, и разница в возрасте, да и тянулась она, может быть, не ко мне, а к прозе с поэзией. «Это, Верочка, у тебя от чтения и лечится тоже — чтением», — вот и все, что я мог ей сказать. Но приходит на чай ко мне она не переставала — все запросто: соседи, неструктурированный день.

Ксения, мать ее, ревновала Верочку, на родительские собрания отправляла отца — коммуниста Жидкова, так мы его называли, он уже с ними не жил. Был когда-то секретарем райкома, начальником, по здешним меркам, большим. Потом Ксения его бросила, стал болеть, пить, сделался серый какой-то, землистый весь, невозможно стало с ним разговаривать. Теперь, думаю, помер уже.

А какие Верочка сочинения писала по Достоевскому! Не без натяжек, конечно, но очень талантливые. Помню почти наизусть — про Порфирия, пристава следственных дел, глаза с жидким блеском, про то, что мы удивляемся, когда они оказываются людьми, про то, что Порфирий — единственный, у кого нету фамилии, а вот спас же Раскольников, он и Соня спасли его, справедливость и милосердие — два действия божества!

А сочинение ее по «Грозе» — вообще самое интересное, что я об этой пьесе читал: про Катю Кабанову и Анну Каренину. И несостоятельных, слабых мужчин.

Каждый преподаватель литературы мечтает, чтобы его ученик стал настоящим филологом, вот и я посоветовал Верочке: поступай-ка ты на филфак. Думал — в Москву, но она выбрала Петербург, как я ни отговаривал Верочку: скука, холод и гранит, как ни просил перечитать того же Толстого. Дочка начальников, к тому же единственная, — не привыкла ни в чем получать отказ. В прежние времена из таких, как Верочка, образовывались, я думаю, эсерки, народоволки... Только смеялась в ответ, декламировала Ахматову: Но ни на что не променяем пышный, / Гранитный город славы и беды... — для Верочки Петербург обернулся только бедой.

Ксения филологию не одобряла, хотела Верочку сделать юристом: заработок, работа на фирме, замужество с иностранцем. Счастье — на обыкновенных путях, — знаем, слышали. Верочка, естественно, не обсуждала мать, повторяла лишь, что она — другая. Сразу в университет не пошла (не любила проигрывать), целый год готовилась: по литературе — конечно, со мной.

Подробностей ее гибели я не знаю и не желаю знать. Общежитие, квартиры, испорченные ленинградские мальчики, жестокие, остроумные, с кем-то она расставалась, с кем-то сходилась. Питерское культурное подполье — злые ребята! Письма скоро пошли какие-то не ее, не Верочкины. Ехала в Петербург за высокой культурой, а в результате — университет бросила, и пошло: помощь обиженным, обездоленным. Идея возникла у Верочки — обращать несчастных людей к прекрасному: к музыке, живописи, красоте. Тех, кому уже некуда больше идти. Как могла она справиться? Среди них разные, по-видимому, типы есть — в основном отрицательные. Было, рассказывали, и насилие. Со стороны одного из ее подопечных. Говорили разное: приняла таблетки, яд, откуда у Верочки яд?

Я и на похоронах ее не был. Директриса наша, Пахомова, сделала так, чтобы я на них не успел: в область отправила, на повышение квалификации. Жалела меня, вероятно, по-своему. Отец Александр отпевать Верочку не хотел, но Ксения с ним, разумеется, справилась. Никому не нужна была гибель Верочки, никому. Вот что: живым надо быть, а я был хорошим. Женился б на ней, а потом отпустил в Петербург, хоть куда.

— Женился бы он... Ишь, — усмехается Ксения, — женилку отрастил. Слабак. Тьфу. — Отрывается от чтения, руку трет.

На руке — темное пятно, поросшее волосами. От волнения пятно пульсирует, чешется. Закрывает его рукавом.

— Да, что тебе? — Исайкин, высокий, сутулый — муж. — Иди, давай, открывай, клиенты ждут.

Убогий. Автомагазин тоже ее. «Достойная резина для достойных людей» — вся работа Исайкина. Достойные свечи, масла. Выгнать бы к чер-

товой матери, но — венчались, нехорошо. Что Бог соединил... Бог и так ей должен. За дочь и за все.

Дочитать гада.

Раз уж я принялся говорить о Ксении, то надо отозваться и вообще про власть. Ее в нашем городе прихватили маленькие некрасивые люди. Нервные: не оттого, что нехороши собой, а оттого, что власть им досталась хищением. Но они приняты, приняты, а кто у нас в городе не был бы принят? Коммунист Жидков, теперь — Паша Цыцын, местное самоуправление, и каждый раз: может быть, этот дороги сделает?.. Паша, Ксения и судья всё и прибрали к рукам. Ксения — духовный вождь, аятолла, очень набожна, Паша-дурачок — когда-то выборный, только давно у нас не проводят выборов, главу назначают теперь депутаты, а судья — он просто самый богатый, фамилия у него забавная — Рукосуев, половина земель вокруг города — рукосуевские, вот такая история. Но судья-то как раз, говорят, человек незлой. То ли дело Ксения: рассказывали, как она увольняет своих таджиков. Кажется, получает удовольствие от зла, как те подростки, что кошек мучают.

Школьная уборщица крада деньги из наших пальто, мы избавились от нее, с огорчением: она своя, такая, как мы, но опустилась, крадет, а вот если Паша лазил бы по карманам, я бы, честное слово, хуже не относился к нему: Паша — другой. Хищение ли, выборы — велика ли разница, если власть всегда оказывается у других? Так-то так, да только другие непременно интересуются, что мы думаем. И про них, и вообще. Вот священник наш, младше меня лет на пять, его Александром Третьим зовут, до него еще два Александра было, рукоположен по правилам и служит, наверное, правильно, хотя ни одного слова не разберешь: Александр — не узурпатор, бояться его не следует. Да и я, учитель, тоже по мере сил стараюсь все делать правильно. Конечно, мне хочется уважения, но, проходя мимо класса, я не остановлюсь под дверью послушать, что обо мне говорят. А достанься мне мое место хищением, непременно слушал бы. И наши будут, если уже не слушают.

Но ведь в сущности — что мне начальство? Свет светит, вода течет. Не всегда, с перебоями, но течет. А как уж у них там устроено... Нет, это я всё, чтоб отвлечься, не думать о Верочке... Чего я тогда испугался? Боялся ли совершить хищение, женясь на ней? Вялые оправдания. Жизнь наша здесь, конечно, была бы немыслима... Если себя не жалеть: испугался любви и сопряженных с любовью страданий. Хуже: хлопот. Уж если совсем не жалеть себя.

Ксения переворачивает последнюю страницу: чтоб ты сдох! Прости, Господи. Дочь отняли, страну развалили — вот и все, что вы сделали, умники.

Был социализм, и Ксения служила, как все — верила и не верила. Были страна, дочь. Идеалы были, чего-то боялись. Не стало социализма, распа-

лась страна, другие появились ориентиры — она все поняла правильно — крестилась и дочь крестила, помогла восстановить храм. По делам их узнаете их. И что? Погибла дочь. Ни дочери, ни страны. Вот награда. Понять невозможно.

Задолжал ей Господь Бог, крепко задолжал. Она-то свой долг знает. Дело делала и дальше будет. И не ждет гарантий. Сказала, что храм восстановит — исполнила. Часовню обещала — и часовня будет. Кому обещала? Не важно. Городу, всем обещала, себе. Аятолла, во как.

План часовни согласован с Александром Третьим. Тот пожимал плечами: «И так в храме народ не собирается. Лучше купим колокола». Снова ходила и снова, пока не застала сцену: сидит бабушка, ест капусту, и кино смотрит по телевизору, а там — ругань, крики, пальба! Шутить пробо-вал: «Ох, люта смерть грешников!..» Поймала его виноватый взгляд. — Вот мы, значит, отец, по пятницам как смиряемся! Ездил с подарками — к благочинному, к архиерею. Бабушка у нее вот теперь где — сжимает кулак. Опять пятно зачесалось. Заботы, заботы.

Бабушка — мямля. Толком не может ответить ни на один вопрос. «Сила Моя в немощи совершается», — и что, расслабиться и получать удовольствие? Какая же в немощи сила? Проще всего разговоры разговаривать. Не на таких, как он, еще что-то держится, и не на соседе-учителе, а на ней, на Ксении.

А часовню поставим за домом, вот тут. Теперь она точно знает, где часовне следует быть. Соседа подвинем. Он городу чужой человек. Стихи, проза. Разберемся, кто ему его прозу заказывает, и с заказчиками разберемся. Пахомова, интересно, читала? Да уж наверное. Черт, осторожней надо. Приходится со всякими уродами считаться. Паша еще этот, шибздик. Метр с кепкой, а гонору! «Сам глава администрации вам обещает». Всё на ней, всё на Ксении: город, дом, бизнес. Сил нет тащить, а куда денешься? Долг. Крест.

Пельменная работает так. С мая по сентябрь — дачники, много, террасу открываем, с октября по апрель народец попроще, свои. Восточная еда — шурпа, манты, плов. Есть и постные блюда. Вот сейчас, Великим постом, пожалуйста, постное меню. Но основа всего — пельмени, с оптового рынка. Если с истекающим сроком годности, можно взять совсем дешево.

Постоянных работников два — кассир и повар, русские тетки, исайкинская родня, для всего остального — таджики. Они тоже — с истекающей годностью, одноразовые. Испытательный срок — три месяца. Если есть нарекания, собирай манатки и — давай, топай, ауфвидерзеен. Пока испытательный срок, не надо платить, зато жилье и питание, одному, когда он руку себе обжег, даже «скорую» вызывали. Летом таджиков больше требуется, а зимой — так, один-два. Таджики, между прочим, тоже бывают разные. Одна прижилась.

Роксана Ибрагимова, тридцать пять лет. Голос низкий: «Роксана по-вашему», — больше от нее ничего и не слышали. Что за имя такое? «Роксана», «Оксана», «Ксана» — надо же, тезки почти. Худая, высокая, аккуратная, не такая, как все, совсем не такая. Длинные черные волосы. Очень красивая. Сказала ей: «Старайся, мужа себе найдешь. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок». Сама засмеялась и тут же затихла: так эта Роксана глянула на нее. На мгновение зажгла огонек в глазах и тотчас же погасила.

Что значит этот огонек, поняла позже: парень, тоже нерусский, с бензоколонки, пиво пил на террасе, Роксана ему подавала. Попробовал протянуть руку, дотронуться до нее: «Де-эшкка...» Как-то дернулась, и уж зажегся огонь так огонь, будьте-нате. Что-то вырвалось у нее, несколько звуков, горлом. Сник парень, пиво не допил, ушел. Стояла возле двери, все видела, тогда же решила: пускай работает, буду платить ей. Так что Роксана тут с августа, живет в подсобке, за кухней, в тепле. Пространства свободного метра четыре, да у нее и вещей почти нет.

Несет Роксане новые папки прозрачные — меню все захватанные, надо менять.

— Листочки переложить справишься? — Роксана поднимает глаза, чуть движет ресницами, молча.

У нее всё — молча. Тогда еще, в августе, приходил какой-то, искал ее. Из москвичей. Сказал: русскому языку детей его учит. Ничего не придумал умней. Роксана не вышла к нему, правильно сделала.

А с листочками — справится, она со всем справится. Надо прибавить ей. Тянет ее к Роксане. Жаль, не поговоришь.

— С праздником тебя, Роксаночка, с женским днем!

Та не удивляется, не кивает, просто не реагирует никак.

Больница — администрация — суд. Все близко, пешком.

В больнице Жидков, ее бывший. Уже полгода тут. Дом не отапливается, некому приглядеть. А какие варианты — в интернат его оформлять? Да ему осталось-то... Летом, если дотянет, — домой.

Жидков опять начудил: пробрался ночью на сестринский пост, вызвал «скорую»: плохо мне, не могу дышать! А «скорая» тут же, внизу.

Выходит главврач, рот вытирает, они уже празднуют:

— Ксения Николаевна, хотите послушать? — Все разговоры на «скорой» записываются. Зачем ей слушать? Пошли к Жидкову. Все такое обшарпанное, когда ремонт будем делать, а?

Главврач остается сзади: «Я у себя, если что». Жидков сидит в коридоре, желтый весь, высох. Давно не видела.

— Ну, живой? Сколько вешишь?

Килограмм пятьдесят, не больше того. Захватила ему поесть.

— А ты, Ксюха, все восемьдесят?

Да нет, семьдесят пять — семьдесят семь, в той же поре.

Жидков смотрит просяще, чего-то задумал. Жалко его, конечно. С другой стороны — всем когда-нибудь помирать.

— Заберешь меня?

К лету, ведь сказано.

— К лету... К лету я уже с Верочкой нашей буду. Хоть коммунистам и не положено в такие вещи...

Положено. Теперь всем — положено. Коммунист! Какую страну умудрились про... Вот только не надо сегодня про Верочку, хватит уже. Верочка его навещала, видите ли, книжки читала вслух. Хорошие, говорит Жидков, книжки, а какие — не помнит уже.

— Не лечат меня. Другим — капельницы...

По коридору идет медсестра. Ксения делает движение головой: «Пригласите лечащего врача».

Молодой, новый какой-то, чистенький не по-нашему:

— Я уже все объяснил вашему мужу. Простите, бывшему вашему мужу. Нет, исключительно операция. Да, в Москву, мы на сердце не делаем операций. В области тоже не делают. Гарантий? Каких вы ждете гарантий? Конечно, риск есть. Скажем... десять процентов. А вероятность умереть от болезни — сто. Понимаете?

Ишь ты, какой говорок. Спокойно:

— Областные специалисты имеют другое мнение. Да и какая операция в его возрасте? — Жидкову: — Выписку принеси.

Жидков толком идти не может, два шага — и задыхается. Ксения обгоняет его, заходит в палату, двухместную, на соседней с Жидковым койке — гниющий старик. Не могли дать отдельную? Все-таки — второй секретарь, не колхозник задрипанный, надо прошлое уважать. Роемся в тумбочке, жуткий смрад, это не от старика: остатки пельменей, которые послала. Жидков наконец доплелся:

— Ксюха, пасеку у меня купи, а?

Пошел ты со своей пасекой! Ага, вот: «лечение по месту жительства». Врач кривится: кто эту чушь написал? Они там не разбираются... А ты, значит, разбираешься? Чего-то он снова принимается толковать. Она не вникает, не слушает. Вдруг включается:

— ...С операцией он может сколько угодно прожить. Мы его уговорили, почти. А вы должны быть не частью проблемы, а частью ее решения.

Это уж слишком! К главврачу: так, чтобы каждый день капельницы, дважды в день. Под его ответственность. Под личный контроль. Говнюка этого к Жидкову не подпускать. Ваших женщин — с праздником.

— И вас с наступающим, Ксения Николаевна, здоровья вам!

— Павел Андреевич на месте?

— На месте он, на месте, для вас, Ксения Николаевна, всегда на месте.

Что за глупая улыбка? А потому что — знает.

Пять лет назад она пришла к Паше, только вступившему в должность, — его и привела сюда Ксения — простой парень, главное, что из

местных (из местных плюс дед воевал, Паша — внук солдата, вот и все его козыри), — поздравить, пожелать многих лет работы на благо города. Поговорили о том о сем, и вдруг — стал толкать ее в заднюю комнату: «Посмотрим кино про меня?» — Какое еще кино? — «Увидишь, Ксения Николаевна, интересное».

В комнатке диван, занавешены окна. Паша навалился сзади, как учили товарищи: женщины любят силу. «Ты что творишь, Паша?» — «Ухаживаю». — «Сдурел на радостях, да? Я ж почти бабушка. Девки в городе перевелись?» Паша чуть отодвинулся, покрутил головой: «Мне теперь статус нужен». Опять принялся за нее. Ладно, будет тебе статус, сокол. Минуточку, отвернись. Паша — выпускник летного училища, низенький, шеи нет, голова большая, а остальное все — маленькое-маленькое. Смех и грех. Любовь длилась сорок секунд и с тех пор не возобновлялась, но городу известно: Ксения с Пашей — любовники.

Паша подписывает открытки к Восьмому марта, не лень? — существует же ксерокс. Нет, все сам, трудоголик.

— Не бережешь себя, Паландреич.

С чем, спрашивает, пришла? — Да так, пошептаться надо.

Паша принимает государственный вид:

— Что же, давай, Ксения Николаевна, порешаем вопросы.

Она излагает: часовня, вот планы, дело за малым — земля. С духовной властью все согласовано: часовня нужна. А у нее сосед на пятнадцати сотках жирует, практически в центре города.

— Он ничего вроде, — заявляет Паша. — Кристинка моя у него. Живет, говорит, как эта, как птичка.

Ага, как птичка. Небесная. Хорошо себя чувствует.

Паша ужасно вдруг напрягается:

— Как там... программа: духовное возрождение, славянская письменность...

С каких пор мы стали интересоваться письменностью, Павел? Муниципальное жилье дадим твоей птичке, тем более если — программа. До Паши доходит, как до жирафа. «Дома горят, ты ведь работал пожарником!» — хочется крикнуть Ксении Николаевне, но о таких вещах даже с ним нельзя.

— Я думала, ты мужчина. Ты же на той неделе мне обещал!

— Извини меня, Ксения Николаевна, та неделя — это *та* неделя, а эта неделя — это *эта* неделя.

— Где ты набрался такого?

Он это слышал от областного начальника. Ну да, Паша теперь постоянно бывает в области. Край какой-то. Тупик. Паша хоть знает, что такое часовня? Бурчит:

— Не вижу, этой, логистики.

Лучше боулинг, считает Паша. Боулинг будет более востребован.

— Какой еще боулинг? Ты ведь, Паша, государственный человек.

— Государство, Ксения Николаевна, — понятие относительное.

Сидит, надулся. За жирафа обиделся? Да тебе любое сравнение с жирафом... Вдруг — озарение:

— У учителя знаешь какие дела творятся? — вдохновенно рассказывает. — Почтирикает, почтирикает птичка да и нагадит. Прямо позади ее дома — гнездо разврата свила. За дочь не страшно?.. — еще говорит и еще, платок достает, подносит к глазам. — Хочешь, чтобы она?.. Чтоб — и она?

Паша задумывается.

— Ладно, разберемся с этим чмо, — давно бы так! — Разрулим ситуацию. Будет часовня, готовь решение! Давай по маленькой, Ксения Николаевна, с наступающим праздником, здоровья тебе, сил, любви!

Офицеры пьют стоя. Господи, блин, достал.

Суд — больше для радости, чем для дела. Егор Саввич, судья, — веселый, петь любит и служит хорошо, музыкально: плавно, без пауз ведет процесс. Сдавать стал немножко в последнее время, облез, в область ездит обследоваться. «Атрофические изменения головного мозга» — он показал ей результаты последней своей консультации. Она смеется: «Не рассказывай никому. Адвокатам — в первую очередь».

Если о чем и жалела в жизни, то вот — что не стала судьей. Каждый раз мурашки по коже, когда приговор: все стоят, судья зачитывает, хорошо. Сам только что напечатал, и — вжик — три, пять, десять лет.

Сегодня судят двух ее бывших таджиков. Уволила еще в сентябре, чего-то строят теперь, верней — строили. Преступная нация, исключения лишь подтверждают правило.

Утро было пасмурное, а тут и солнышко. Пока шла до суда, развеселилась совсем, Пашин коньяк подействовал. А вот и они, красавцы, возле задней двери. Неудобно, небось, держать сигарету двумя руками? Похудели вы без Ксении Николаевны, осунулись. Ничего, на казенном поправитесь.

Выходит Егор, уже облачился:

— Начинаем процесс. — Здесь по-домашнему. — Давайте, ребята, айнцвай, в зал. — Все у него «ребята». Эти, похоже, толком не знают русского. — Ты тоже, Ксения Николаевна, заходи.

Как обычно, она направляется в заднюю комнату, дверь туда приоткрыта, все видно и слышно. Адвокаты, оба по пятьдесят первой, обеспечивают право на защиту, прокурор, секретарь — кажется, все собрались.

«Встать, суд идет. Прошу садиться», — никто и двинуться не успел. Отцу Александру бы поучиться, любую службу развозит на два часа. Номер дела, статья, имена подсудимых — не выговоришь, государственное обвинение поддерживает младший советник юстиции такой-то, отводов, ходатайств нет. Статья Конституции подсудимым разъяснена. Обвинительное заключение. Прокурору: сидя давай.

На автостанции эти двое отобрали у мальчишки, местного, телефон. Мальчишек, насколько известно, обчистили нескольких, и телефонов забрали несколько, но заявление в милицию получили только от одного, да

и таджиков было не двое, а трое, один сбежал. В жизни иначе всё, чем в суде, менее стройно, тем ей и нравится суд. Никому не нужны ни лишний таджик, ни лишние телефоны, ни потерпевшие, которых в процесс не вытаскишь.

Егор мелко кивает — будто в такт какой-то внутренней музыке. От адвокатов только и слышно: «Встань», «Отвечай суду». Первый таджик с обвинением согласен полностью, второй — частично. Первый — да, побои наносил потерпевшему он, и в карманах шарил у него тоже он.

— Чем шарил, руками? — спрашивает прокурор.

Чем еще можно шарить? Понимает ли обвиняемый, о чем его спрашивают? Ксения прикидывает его возраст. Школу не надо прогуливать. Какая была страна!

Второй таджик говорит по-русски уверенней:

— Мы сидели с Виталиком, «Роллтон» кушали.

— Супы быстрого приготовления «Роллтон», — перебивает Егор. — Рекламная пауза! — Поворачивается к двери, за которой, он знает, находится Ксения.

— Тебя не за это судят, — вмешивается адвокат. — Бил потерпевшего? Угрожал ему? Телефон кто вытаскивал?

— Про телефон сказать не могу. Находился в состоянии алкогольного опьянения. — Адвокат машет рукой: мол, и черт с тобой, и сиди.

Допрос свидетеля занимает еще полторы минуты, прения сторон — две. Суд удаляется на совещание. Попробуем угадать:

— Год и три? То есть, наоборот, три и год?

Егор кивает: точно, она всегда угадывает.

Ксения проходит в зал. Центральный момент.

— Именем... — бум! молотком, всё! — Увести осужденных!

Егор хороший судья: отмен у него не бывает. Мантию в шкаф, а оттуда гитару и еще — рюмки и коньячок.

— Не дай себе засохнуть, Ксюша! Лимончик порежь, огурчики вот, маслины, рыбку.

Второй день поста, эх, будет что рассказать на исповеди.

— С праздничком тебя, с женским днем! Гостуемый пьет до дна.

В глазах его слезы, быстро хмельеть стал. В прежние, еще советские, времена они, как говорится, *встречались*. Ксения забегала после работы, они запирали дверь, Егор обнимал ее и ласково спрашивал: «Угадай, Ксюша, кого сейчас будут *иметь?*» Как молоды мы были... Он и теперь пробует обнять Ксению, она мягко высвобождается.

— А, может, у меня этот, сексуальный всплеск?

Уж какой там всплеск. По-настоящему Егор всю свою жизнь любил одну женщину — Пугачеву Аллу Борисовну. «За эту бабу, — говорил он, — я невинного человека убить готов». И в Ксюше особенно ценит голос.

— Споем?

— Не гони, — просит Ксения. — Позже споем.

Егор откидывается на спинку дивана, жмурится:

— Давай тогда про божественное... Я люблю... Что у вас там за число зверя?

Поздно до нашего города добираются новости. Она принимается объяснять: штрих-код, три шестерки, как на этой бутылке — ясно тебе? Так на любом изделии.

— Да зачем они нужны, будем говорить, три шестерки? Чего-то я не пойму. — Егор забирает бутылку, собирается наливать.

Она не может точно сказать.

— Вроде, для этой, синхронизации...

— Ха-ха-ха, — смеется судья. — Для синхронизации у нас «Три семерки»! Портвешок. Поняла?

Егор веселый, и с ним тепло, весело. А чего не веселиться? Деньги есть, дело делает нужное, интересное. Зря она не стала юристом. Верочку вот надеялась в люди вывести... Вспоминает утро, мрачнеет. Надо Егору рассказать про учителя: в городе, в их с Егором городе, чужой человек.

— Егор, ты Верочку мою помнишь? Кто ее сбил с пути — представление имеешь?

Тому весело — удачная вышла шутка про портвешок:

— Учитель что ли? Ладно тебе, с какого пути? Сама говорила: ничего у них не было.

— Именно что, учитель. Вот и учил бы. А то — литературные четверги, стихи, проза...

— Ксюш, да при чем тут?... Верочка ведь, ты извини, всегда была у тебя какая-то не такая. Ладно бы только папашу своего недоделанного жалела. Так всех ведь подряд несчастненьких. Помнишь, бомжа с улицы притащила?

— Нашел, что вспомнить, это Верочка еще ребенком была.

— А учителя брось. Скучно тебе, ты и маешься. Успокойся, Ксюш. Перемелется, время лечит.

— Теперь меня послушай, Егор. Чужой человек у нас в городе. Враг — не враг, но вообще-то враг. Или кто-то использует ситуацию. Бумаги пишет твой учитель, будьте-нате. Хочешь, дам почитать?

Егор отмахивается: мало у него разве своих бумаг?

— Земля им твоя приглянулась, — как бы вскользь, между прочим, произносит Ксения, тоже искусство — так вот сказать.

Егор умеет быть и серьезным:

— Земля?! Кому?!

— Кому-кому... Чужие люди пришли в наш дом, Егорушка. Чужие люди!

— Всякий, кто замахивается на нашу... на эту... короче, ты поняла, государственность, получит по заслугам! — По журнальному столику — хрясь! — Мы с тобой, наши, будем говорить, отцы, деды землю эту отстояли. От немцев! От французов! — Думает: — От поляков.

Красный весь стал Егор, особенно лысина.

— Егорушка, ты-то меня поддержишь?

Можно было бы и не спрашивать.

Во-о-от, поделилась, и легче стало. Жестом показывает: гитару бери, теперь будем петь. Она поднимает руку, распускает пучок. Волосы у нее каштановые, длинные. Еще одну рюмочку.

— Спой эту... «Куда они там все запропастились...»

Ксения улыбается: ей известна Егорова слабость. Проигрыш — и... *Уж сколько их упало в эту бездну, разверстную вдали!* Голос высокий, чистый — как хорошо!

Допели, судья гладит струны, грустит. Он тоже о смерти стал размышлять. Растерян: две птички желтенькие утром сегодня в дом залетели. Плохая примета, к покойнику. Ксения его успокаивает:

— Желтенькие? Это ничего, к деньгам.

Ксения верующая, ей легче. А его в церковь — не тянет, нет:

— Нас как воспитывали? Что после смерти нет ничего. А теперь — первые лица даже... Стоят со свечками, крестятся. Ну, поклоны не бьют, не хватало еще... Но ты вот, допустим, о чем Бога просишь?

Не под коньячок разговоры такие. О чем положено, о том и просит. О чем святые старцы просили...

— А, предположим, точно вот было бы, что Бог есть. Чего попросишь?

Она размышляет:

— Верочку не вернешь, страну тоже... Чтоб мне годиков двадцать—тридцать скинул, наверное. — Улыбается, э-эх... Давай, за все хорошее.

Засиделись. На улице уже, наверное, совсем темно.

— Смотри, — Рукосуев лезет в портфель за листочком. — Стих. Козырный. *Да, все мы смертны, хоть не по нутру / Мне эта истина, страшной которой нету, / Но в час положенный и я, как все, умру...* Пронзительно. О главном. — Неохота за очками вставать, да он и так помнит. — *Жизнь только миг, небытие навеки. / Та-та-та-та-там, что-то там такой, / Живут и исчезают человеки.* Как в воду глядел мужик.

Заморочил он ей голову. Чьи стихи? Его?

— Нет, не угадаешь. Андропов это. Юрий Владимирович. Вот так вот. Лучше любых там... *Но сущее, рожденное во мгле, / Неистребимо на пути к рассвету, / Иные поколенья на Земле / Несут все дальше жизни эстафету.*

Иные поколения, фу ты.

— У тебя, Егор, дети, внуки, все правильно. — Плачет, захмелела совсем. Вся в слезах. Так всегда, если выпить в пост.

Стук. Ксения утирает слезы. Это еще что за явление Христа народу? Исайкин! С него капает пот, он задыхается:

— Уже знаешь?

— Что — знаю?! Кто тебя пустил сюда? Ну-ка!

ЧП. Убийство. ПАША ЦЫЦЫН УБИТ. Только что. Не где-нибудь — у нее в пельменной!

ТЕРАКТ! Почему сразу не известили? — Он и сам только узнал. — Дурак! Ты там был? Исайкин, а ты не пьяный? Ладно, беги вперед, догоним,

или нет, подожди! Рукусуев куда-то уже звонит. Пошли, пошли! Путь оказывается длинным: Егор не то что бежать, не может быстро идти. Пыхтит:

— А ты говорила, птички к деньгам.

Видели они теракты по телевизору: взрывы, фрагменты тел, но возле пельменной совсем, можно сказать, спокойно. Народ тихий, по вечерам дома сидит. «Скорая» вон отъехала. В пельменной — милиционеры и прокурор, не смотрят на Ксению. Где убили? На кухне? Что Паша делал на кухне? Ага, вот и кровь. Ужас какой! Чем его? А, ножом. Накурили-то, накурили! Мужчины, курите на улице, — надо взять ситуацию под контроль.

А Роксана где? Где Роксана? Начальник милиции, толстый полковник:

— Кто? Ибрагимова? В камере временного задержания, где еще? Завтра — в область.

ЧТО-О? ЭТО — ОНА? Господи! — Ксения принимается причитать и сразу перестает. Ясно теперь. Паша за девочкой ПОУХАЖИВАЛ. А Роксана-то! Взять и решить вопрос — ВОТ ЭТО ДА-А, ПОСТУПОК!

— Егорушка, какая область, зачем в область? Сто пятая, часть первая, ее ты судить должен.

— А чучмеки твои, Ксюш, сегодня ударно потрудились, — размышляет судья. — Глава местного самоуправления, не кролик. Пресса, то-сё. Охота искать приключений? Мне нет. — Ага, зевни мне еще! — Тут, будем говорить, сто пятая, часть вторая. — Начинает вспоминать кодекс: — С особой жестокостью — раз. На почве национальной ненависти — кто его знает? — два. Теперь с этим строго.

— Скажи еще: при выполнении долга, — злится Ксения.

— Часть вторая, в область. От восьми до двадцати... Ну, двадцать не двадцать, а на десяточку потянет.

Нервы у Ксении Николаевны не железные:

— Извини меня, Егорушка, но за Пашу, извини меня, да? за Пашу Цыцына, за эту, прости меня, шелупонь — ДЕСЯТЬ ЛЕТ?! Побойся Бога, Егорушка! Я тебе завтра сто таких паш найду. Вы с ним друзья, конечно, были, но, извини, у нашего Паши где совесть была, там, как говорится, хрен вырос! — Менту: — Дай сюда, что ты написал, дознаватель херов! Не мешай, Егор! Что за ССОРА НА ФОНЕ ВНЕЗАПШН... Тьфу, урод! ВНЕЗАПНО ВОЗНИКШИХ НЕПРИЯЗНЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ?! Пиши давай, ПРИ ПОПЫТКЕ ИЗНАСИЛОВАНИЯ... — Трет руку, она пульсирует так, что, кажется, кожа лопнет, не выдержит. — Где ее подпись? Нету! Всё, филькина грамота! Засунь себе в...

— Извините, Ксения Николаевна, — обижается милиционер. — Вы, так сказать, уважаемая личность...

От ее истерики Егор приходит в чувство, снова берется за телефон:

— Плохо человеку! — кричит он. — Да нет, да при чем тут... Давай сюда опять свою, блядь, медицину!

Неприятно, конечно, стресс. Кругом все в Пашиной крови. Ксения почти отключается. В чем-то все же она слабее мужчин. Ее тащат к двери,

поливают водой, вату какую-то нюхать дают. «По нашей практике, — рассуждает Егор, — чтобы в первый раз и — за нож, это редко. Ну, топором там... а ножом трудно убить человека. Вызывает определенное... Ты свинью резал?» Еще голоса: «А красивый бабец?» — «Да чего там красивого, чурка и чурка», — «Паландреич-то думал, Бога за яйца держит, брали в область», — «Ага, ногами вперед...»

— Ну, в общем. Дозалупался Паша, — подытоживает судья. — Родственникам сообщили?

Всё, она в порядке. Следственные действия в пельменной завершены, можно мыть. Тетки сделают. Егор отводит ее домой: еще по сто, за помин души? — Да, а теперь оставь меня. Исайкин, ты тоже — не суети.

Ксения не засыпает, а как-то проваливается. Минут через сорок сознание к ней вдруг возвращается, она вскакивает, хватается громадную сумку и швыряет в нее из холодильника яблоки, йогурты, колбасу. Отворяет дверь в Верочкину комнату, Ксения редко заходит сюда, распахивает шкаф и сваливает в сумку платья, ботинки, даже белье, большой ошибки с размером не будет. Господи, да что же такое? Только привяжешься к человеку...

Ксения добирается до милиции. Полковник у себя? Где ему быть, события-то, Ксения Николаевна, какие! Конечно, он пустит ее, как отказать такой женщине?

— Так-с, посмотрим сперва в глазок. — Дает посмотреть и Ксении. — Спит наша злодейка, просто удивительно.

В камере она одна. И вправду — спит. Лежит на спине, дышит размеренно, неглубоко и во сне кажется еще прекраснее.

Когда *этот* отвалился от нее и наконец затих, она дождалась, пока уймется ярость, отдышалась и пошла смывать с себя все под раковиной — в уборную, где мылась всегда. Возможно, уничтожить следы соприкосновения с насильником не следовало, об этом она тоже подумала, но подавить в себе желание помыться не смогла. Сложила в пакет порванные чулки и халат, туда же сунула обернутый в газету нож. Затем надела единственное свое платье, пальто, повязала косынку, взяла из подсобки несколько книг — все ее вещи, заперла дверь и отправилась в отделение милиции. Да, еще перед уходом всюду погасила свет. Ее хладнокровие позже послужит доказательством того, что она либо выдумала знаки внимания, оказанного ей жертвой, либо преувеличила их значение.

В отделении она сообщает дежурному, что около часа назад при попытке изнасилования ею был убит мужчина средних лет, предъявляет содержимое пакета, передает ключ от пельменной.

Она смотрит за тем, как в отделении возникает переполох, как с лестницы сбегают милиционеры, как по направлению к пельменной отъезжает автомобиль. Саму ее отводят на второй этаж и усаживают на стул.

Напротив, через стол, садится молодой милиционер. Он настроен миролюбиво:

— Можете пригласить своего адвоката.

Адвоката у нее пока нет. — Это шутка. Он пошутил.

Ибрагимова Рухшона Ибрагимовна, 1971 года рождения, гражданка Таджикистана. Место рождения — Ленинабад, ныне Худжанд. Образование — высшее.

Милиционер отрывается от протокола. Да, высшее, филологический факультет МГУ. Милиционер сильно, по-видимому, удивлен: у него самого, вероятно, не больше двух лет заочного юридического.

Статью пятьдесят первую Конституции она знает: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого и так далее».

— Привлекались?

— Нет, в первый раз.

Откуда же?.. — Она пожимает плечами: читала. — Конституцию? Ну и ну.

Он просит ее изложить обстоятельства дела. Тон его — благожелательный. Если все так, как она указывает в заявлении, то он снимет с нее показания и — под подписку — выпустит.

Видела ли она мужчину раньше? — Да, видела, он ненадолго заходил к хозяйке. Имени его не знает. Сегодня пришел около шести часов вечера, спросил Ксению Николаевну. Не застав ее, купил кружку пива. В пельменной, кроме них, никого не было. Попил пива и предложил ей... физическую близость, получил отказ. Да, резкий, но по форме не оскорбительный, почти бессловесный.

— А то бывает такой отказ, — объясняет милиционер, — когда, вроде, отказ... а потом... Короче... Женщины любят силу.

Она на него внимательно смотрит. Она любит силу, но тут была не сила. Милиционер ее, кажется, не вполне понял:

— Это лирика. Дальше давайте, дальше.

Когда мужчина встал и направился к ней, перешла на кухню. Зачем? Это было инстинктивным, а не продуманным решением. Где лежал нож, помнит, сколько нанесла ударов и куда — нет. Хотела ли убить? Хотела, чтобы его не стало, каким угодно образом.

Еще вопрос: почему она не работает по специальности? Она не видит, как это относится к делу. Хорошо, а раньше работала? В университете в Худжанде, недолго, преподавала русскую литературу.

— Да кому она там нужна? — недоумевает милиционер. — Там же одни, эти... — он хотел сказать: черные.

Не нужна, она совершенно согласна с ним. Вообще не нужна.

Еще где работала? В Москве, с детьми из богатых семейств, по русскому, литературе, английскому. Если считать это работой по специальности. Почему перешла на неквалифицированную работу? На это имелись свои причины.

— Хотела жить, как братья по крови?

— Именно, — отвечает подследственная. — Как братья. И сестры.

— Сёстры, — поправляет милиционер. Эх, филфак.

Быстрым шагом входит дежурный, зовет милиционера в коридор. Тот возвращается через минуту. Дело оказывается непростым. Знает ли она, что убитый является Павлом Андреевичем Цыцыным, главой местного самоуправления? — Нет, но, с ее точки зрения, это ничего не меняет, он обыкновенный насильник. Случившееся было не убийством, а самообороной.

— Эффективная самооборона, — усмехается милиционер. Шесть ножевых: в живот, в лицо, в пах, а на ней — ни царапины.

Сожалеет ли она о содеянном? — Бессмысленный вопрос, у нее не было выхода. На кухне события развивались сами собой.

— А любовно договориться не могла? — милиционер внезапно меняет тон и пристально смотрит в глаза подследственной. Так, он видел, проводят допрос старшие его товарищи.

Глаза у нее черные, у них у всех такие, и смотрит она ими куда-то внутрь, ничего не поймешь. Отдернет шторку, оттуда полыхнет, как из зажигалки, если открыть на полную, потом задернет — и погасло пламя. Молодому милиционеру на мгновение становится не по себе. Всё, только не надо нервничать. Оформить протокол — и бегом в пельменную. Голова от них кругом идет, пусть в области разбираются. «На поч-ве вне-запно воз-ник-ших не-при-яз-нен-ных от-но-ше-ний...» — выводит он. Язык от усердия высунул. Произносит скороговоркой:

— С моих слов записано верно, мною прочитано, замечаний не имею.

Нет, этого она подписывать не будет:

— Орфографию поправить? Шутка.

Ее приводят в камеру, запирают, она оглядывается, соображает, в какой стороне Мекка, и ждет, когда внутри установится тишина. Потом совершает поклоны, беззвучно молится.

— Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного...

Что означают сегодняшние события? Нужно вчувствоваться, подождать, и ответ придет, как всегда, целиком. Или не придет, молчание внутри нее может продолжаться годами. В любом случае — покорно принять Его волю, быть благодарной за всё. Пока что она ощущает лишь физическую усталость и недоумение — почему именно ей выпало положить предел безобразию? И — гордость, что справилась, взяла верх.

Всевышний дал ей выносливость, волю, необыкновенную память. Еще одно свойство — идти навстречу опасности. С детства отмечали: Рухшона, если ее испугать, не отшатнется, наоборот — вперед дернется, на тебя. Очень оберегала собственное пространство, и когда вторгались в него, могла нанести повреждения. Оттого и дети, и многие взрослые сторонились ее. А еще Всевышний наделил ее красотой, как ту, от кого она получила имя — Рухшону-Роксану, жену Александра Македонского. Тридцать пять лет, для таджички возраст немолодой, но Рухшона очень красива.

Школа русская, Рухшона пишет замечательные сочинения, золотая медаль. «Ставрогин — русский Гамлет, те же ярость и скука и масса нерастраченных сил», — это нравится, ее берут на филфак МГУ. Тут она тоже живет в стороне ото всех, открывает для себя Андрея Платонова: мечты о прекрасном и яростном мире, растроганная радость при виде паровоза, преодоление смерти с помощью механизмов. Диплом у нее — по Платонову, о замках из воздуха. В русских людях и языке, ей родном, она особенно ценит способность возводить конструкции из пустоты.

Большие перемены: Ленинабад стал Худжандом, остальное все плохо. Погибает отец — случайно, отправился по делам в Душанбе и не вернулся — приехать на его похороны невозможно, в Москву звонит брат, рассказывает о других смертях. Многочисленность жертв как будто примиряет его с гибелью отца. «Оставайся в Москве!» — кричит брат, телефонная связь с Таджикистаном ужасная. Что ей делать в Москве? Здесь тоже филологи не нужны. «Потеряла отца в процессе жизни», — думает Рухшона и понимает, что больше не любит Платонова, что преодоление смерти с помощью паровозов и прочей техники — только словесный фокус, потому что повсеместное присутствие смерти не случайно, она — не досадное недоразумение. Все боятся ее, боятся несчастья, а смерть неизбежна, и, значит, естественна. И не нами изобретена. С этого момента начинается переживание Рухшоной смерти как самого главного, что находится у человека внутри. Люди, которые не носят в себе смерти, не живут ею, Рухшоной ощущаются как пустые — обертки, фантики. Люди полые, без души — она узнаёт их с первого взгляда.

Короткое воодушевление переменами проходит мимо нее: Рухшона видит, что духовно перемены эти бессодержательны и что всем распоряжаются фантики. На главной библиотеке страны появляется огромная шоколадка: съешь ее — и порядок. Шоколадки и их изображения — главный результат правления полых людей. *Всем нам хочется сладкого, вкусно.* «Сладко будет у тебя во рту, матушка, а дети твои станут лакеями», — думает Рухшона и покидает Москву.

Кружным путем она приезжает в Худжанд, знающая русскую литературу, как никто, кажется, из ее соотечественников. Можно устроиться в пединститут, теперь он — университет, но там не платят, нигде не платят вообще, и частные уроки ее не нужны — война. За девяносто второй, прошлый, год сто тысяч убитыми, не до изящной словесности, противники зовутся «вовчиками» и «юрчиками». Мама объясняет: юрчики — коммунисты, по имени, представь себе, Юрия Андропова, — кулябцы и мы, северные, с нами узбеки и русские. А вовчики — памирцы, гармцы под предводительством демократов. — Демократов? Почему они вовчики? Логичнее, вроде бы, именно коммунистам называться вовчиками, не так ли? — Нет, ваххабиты — по-простому вовчики. — Какая неразбериха в маминой голове! «Мужа тебе не нашли», — вот, что ее беспокоит: Рухшоне уже двадцать два.

Искать жениха — дело отца или брата, но отца теперь нет, а брат того гляди переедет в Китай, у него собственная семья. Да и как найти Македонского, когда кругом только юрчики-вовчики?

Вскоре, впрочем, и вовчиков не останется, во всяком случае — на поверхности. Симпатии Рухшоны, раз уж приходится выбирать, на их стороне: и потому, что вовчики разгромлены вероломно — *Блаженны павшие в сраженье*, и потому, что в Худжанде их нет. Рухшона принимается что-то искать для себя — в религии, которая как бы ей врождена, но о которой прежде она не задумывалась, ездит в Гарм, в Самарканд. Она учит арабский, дело идет легко, но встречи с живыми людьми, зовущими себя мусульманами, разочаровывают: племенное в них преобладает над духовным, адат — обычное право, закон человеческий, — над законом божественным, шариатом. Жить надо по предписанному, по правилам, которые установил Всевышний, не по традиции, греховное и преступное — это одно, — вот что ей хочется заявить, но джихад освободил вовчиков от закона, да и кто станет слушать женщину?

Им с мамой немножко посылает брат, но — голодно. Рухшона презирает экономическую эмиграцию, но когда твоей матери нечего есть, это уже не экономическая эмиграция. Снова Москва, теперь без очарований и больших надежд. Застывание, усталость — на десять лет, довольно, надо сказать, сытых лет. Ее пристраивают в семьи — заниматься с туповатыми детьми, два-три-четыре года — и новые люди, не плохие и не хорошие. Она остается наедине с собой, только пока дети в школе, да и то — их матери не работают, хлопчут целыми днями и занимают свою Роксаночку. Она даже арабский забросила — апатичные, вялые годы, но для чего-то они, стало быть, были нужны.

Последние ее хозяйева: муж — маленький улыбчивый крепыш и его жена — чем-то испуганная навеки, просит даже не упоминать о болезнях, смертях и других неприятностях — чтобы не заразиться. Постоянно работает телевизор: «Для красивых и сильных волос и здоровых ногтей...» *Я лишился и чаши на пире отцов, и веселья и чести своей*, — хочется продолжить Рухшоне, но ни в ком, конечно, она не встретит сочувствия. Память Рухшоны все еще хранит русские стихи во множестве — для чего? Поэты, их сочинившие, теперь представляются ей далекими родственниками, разлюбленными задолго до того, как умерли. Бедные, думает Рухшона, жизнь-то пошла не по-вашему.

А ребенку, за которым она присматривает, родители врут, вечно врут, но ребенок уже ни о чем и не спрашивает. «Смысл жизни, — учит крепыш, — в самой жизни», — и что-то цитирует в доказательство из французиков. Горд, что перестал стесняться своей низкорослости. Когда? — Когда появились деньги. «Значит, и с этим не справился, — думает Рухшона без сожаления. — Отдаешь ты жизни приказания, как хозяин, но ведь ты не хозяин ей: так, приживалка. Пара цитат — вот и вся твоя космология».

И тут прошлым летом ее вывозят на дачу, не под Москву, как прежде бывало, а в самую настоящую глушь. Здесь она узнает, что маму забрал к себе брат, квартира их продана, и возвращаться становится некуда и незачем. Рухшона видит холодноватое небо, реку, закаты — изо дня в день, и внезапно понимает следующее: жизнь — очень простая и строгая вещь. И все навёрчивания на нее — литература, искусство, музыка — совершенно излишни. В них есть правда, какая-то, кое в чем, но сами они — не правда. Правда формулируется очень коротко.

Есть Всевышний — Безначальный, Предвечный, Всемиловитый, Давущий жизнь и Умерщвляющий, — Рухшона помнит все девяносто девять Его имен, — трансцендентный, непознаваемый, владеющий всеми смыслами, — на одной стороне, и есть мы, ничтожные, — на другой. Нас много, и способны мы почти исключительно на плохое. Пропать между Ним и нами бесконечно: мы ближе к праху, пыли под ногами, ибо — сотворены. Он же — *единый, вечный, Он не родил и не был рожден, и нет никого, равного Ему.*

Рухшона идет к крепышу, забирает вещи и переселяется в пельменную. Братья по крови тут же крадут у нее все скопленные ею деньги, но она обнаруживает это много позднее, деньги уже не важны. Ее ждет физическая работа, молчание и ежедневное, ежечасное угадывание Его воли. Вера Рухшоны переводится с арабского как «покорность».

Ее будит дверь. Здравствуйтесь, Ксения Николаевна. Так и знала, придет. Ксения — не заурядная: в отличие от дачников, от парней с бензоколонки, от негодяя, прирезанного сегодня, не пустая внутри. Искаженное существо, странное, но — пришла.

Свидание начинается так: Ксения падает на пол и тянет руки, пытается обнять Рухшону.

— Обойдемся без Достоевского, Ксения Николаевна, встаньте-ка. Подымайтесь, вы что это, *выпимши?*

Господи, чудо какое — заговорила деточка! Ясно, шок.

— Не молчи, не молчи, вот покушать тебе принесла. А ты как хорошо, оказывается, разговариваешь на русском!

— Благодарю вас. Русский язык — мой родной. — Рухшона разглядывает содержимое сумки. — И за одежду спасибо. Колбасы я не ем.

— Куда ж ее деть?

— Не знаю, мужу отдать.

«И этот *ухаживал?* Вот кого тоже надо бы...» — внезапно думает Ксения.

— Так у нас пост.

Рухшона пожимает плечами: какая разница? Можно отнести колбасу работникам.

— Они тоже, небось, не кушают колбасы.

— Кушают. Этим закон не писан. Они всё... кушают.

Что еще за закон?

— Роксана, Роксаночка, говори мне «ты», мы с тобой не чужие ведь, да?

Ей хочется походить на Роксану, быть с нею вровень. Получится ли? Ксения себя чувствует глупой и старой рядом с вдруг повзрослевшим ребенком: ПОСТУПОК поднимает Роксану на недостижимую высоту, ставит ее так близко к тайнам! Ксения всю свою жизнь шустрит, крутится, что-то выгадывает, шажочками маленькими — ти-ти-ти, договаривается с этими... а тут — раз, и сделано. И одна! Все взяла в свои руки — суд, наказание!

— Я лишь орудие, меч. Суд — у Него.

Что-то Ксения не замечала, чтоб Он — взгляд к потолку — во что-нибудь вмешивался, или даже интересовался особенно. Ладно, у каждого своя вера, поговорим-ка мы о вещах серьезных, практических.

— Своя вера? Ну-ка...

Ксения пытается объяснить, путается, она в самом деле еще немножко пьяна: православная вера, народная. Мы святых почитаем, угодников, разные праздники...

Глаза у Рухшоны вдруг загораются: ах, народная! И во что она верит? — в Николая Чудотворца? в Царя-искупителя? в Женский день? Или сразу — во всё?

— Язычество, ширк!

Этот взгляд невозможно выдержать. Пожалуйста, не надо смотреть ТАК. Она ж не сама... На все просит благословения.

— Да, да, — Рухшона шевелит в воздухе пальцами: знаем мы эту систему. — Часто отказывают? Язычество, ширк! *Мне все позволительно, но не все полезно!* Как прикажете действовать по такой инструкции? Вот и бегают по улице за матерью с топором, голый, а на шее крест болтается, сама видела.

Ксения представляет себе картину и, не желая того, улыбается.

— Правда, — признает она с грустью, — бывают такие случаи.

Рухшона садится на краешек нар:

— *И истина сделает вас свободными.* От чего? Свобода — что это? Своеволие? Самовольство? Или это ваше — местное самоуправление? Нет никакой свободы, есть миссия, предназначение. А наше дело — понять, в чем оно.

— И как, поняла?

— Да, — отвечает Рухшона, — я знаю, зачем пришла в мир и что меня ждет после смерти. Никаких там: у *Бога обителей много.* Их две: рай и ад.

Это вам не какой-нибудь батюшка, не Александр Третий, здесь — ответы так уж ответы! Но это пока еще так, философия, вопросы на десять копеек. Надо собраться с силами и спросить — на рубль.

Дочка была у нее, Верочка. Хорошая девочка. Работников жалела.

— Мы не собаки, не кошечки, чтобы нас жалеть. Платить работникам надо. Так что твоя Верочка? Книжки любила, наверное?

— Книжки любила, маму не слушала. Красивая была девочка. Одиннадцать классов закончила. Хотела дать ей профессию. А она начиталась, наслушалась... всяких умников и уехала от меня. Писателем решила стать

или, не знаю, ученым, филологом... И уехала, и пропала там. Но плохого-то она никому не делала. Так за что Он ее, за что... умертвил?

Последнее слово Ксения произносит совсем тихо, однако не плачет, смотрит внимательно. Рухшона отводит взгляд, потом возвращает его на Ксению:

— За своеволие. Любой грех простится, любой, но за ослушание, за своеволие — смерть. И ад.

Вот первая и последняя правда про Верочку. — Есть такое слово: *надо*, Верочка. — А есть такое слово *нехочется*? — спрашивает та и смеется, она прямо слышит Верочкин смех. И все-таки жалко ее, жалко ужасно!

— По-человечески — да. Но по-Божески непослушание влечет за собой возмездие. Как пальцы в розетку — убьет.

И вымолить никого из ада нельзя. Потому что отвечает каждый — самостоятельно. Рухшона говорит очень прямо, твердо, так и сообщают правду. За своеволие — смерть. Плачь — не плачь, чего уж тут непонятного?

Женщины сидят на нарах, между ними — еда, как в поезде, словно они отправились в путешествие.

— А СССР?

О, СССР — это большая тема, Рухшоне есть, о чем рассказать. Да уж, новейшая история по ней проехала: Москва, Таджикистан, война.

— Опасно, — вздыхает Ксения.

— Я не боялась. Нет, никогда.

Ксения так не верила ни одному человеку, как сейчас верит ей. Почему же распалась ТАКАЯ страна?

— Засмотрелись на Запад. На *лукавый Запад*. Изменили предназначению.

Как это выразить, как объяснить Ксении? *Но тот, кто двигал, управляя / Марионетками всех стран...* Не читать же в самом деле «Возмездие»?

Отчего нет? Торопиться-то некуда.

Рухшона качает головой:

— Потому что правда не в ней, не в поэзии.

Ясно, что не в поэзии. Только есть ли вообще она — правда-то?

— Да, — отвечает Рухшона, — есть.

Есть, и называется коротко.

Ну же, скажи!

Рухшона немного склоняет голову, смотрит Ксении прямо в глаза — так что и взгляда не отведешь, и произносит почти неслышно:

— Ислам.

— Ислам... — повторяет Ксения зачарованно. — А трудно... этой быть?..

— Мусульманкой? — Рухшона поднимается с нар, ходит по камере. — Трудно, но выполнимо. Не невозможно. Молитва пять раз в день, короткая, месяц в году — пост, милостыня — небольшая, сороковая часть, и однажды в жизни, если возможность есть, — хадж, паломничество. Вот

столпы веры. А большего от нас не требуется, разве что, говорит Пророк, *добровольно*. Имений не раздавать, щек не подставлять. Поклоняться Всевышнему.

— А соседа любить?

— Пожалуйста, если любит. Добровольно.

— А если сосед твой — враг?

— А врагов любить совершенно незачем. Врагов любить противоестественно. Ислам запрещает противоестественное. Кто любит врагов? Никто.

— Как же стать мусульманкой? — спрашивает Ксения. Вроде игриво: мол, как вообще становятся мусульманами? — но чешет, чешет пятно на руке.

С Всевышним нельзя кокетничать. Только честность, предельная.

— При двух свидетелях объявить: «Нет бога, кроме Бога, и Мухаммед — пророк Его», — вот и все. Это символ веры наш, *шахада*.

Где-то Ксения слышала слово, по телевизору.

— *Ля иляха илля ллах...* — нараспев читает Рухшона. Необычно, красиво. — Ксения, не верь телевизору. Особенно про мусульман.

Ксения направляется к двери, не за вторым ли свидетелем? Как у них быстро всё! Не ожидала Рухшона такой стремительности:

— Стой, — приказывает она. — Прежде вытрезвись. С этой минуты — не пить. И свинины не есть — мерзость.

— Конечно, — кивает Ксения, — и сама не буду, и из меню уберу.

— Работникам плати.

— Да, да, правда, стыд. Что еще?

Да, что еще? Еще — у Ксении власть над людьми, это не просто так. Вопрос власти — центральный вопрос. Власть имеет огромную мистическую составляющую. Политика, жизнь и вера должны быть одно.

— Кто возьмет себе власть и удержит, тот выделен Им, тот отмечен. Действовать надо — самой, не через этих, фантиков. Власть взять — всю.

— Уже думала, — признается Ксения. — Да только тут как полагается? Кого люди выберут...

Опять самоуправление, юрчики? И какое же место отведено Всевышнему? Нет, править всем должен Он — через нее, через Ксению!

Та заметно приободряется: о, она сделает много хорошего для людей. Мечети в городе нет...

— Мечеть — не главное, — перебивает Рухшона. — Я бы не начинала с мечети.

Это почему это?

— Тут уж я лучше понимаю, Роксаночка. Построим мечеть, в самом центре. И люди будут ходить, у нас много черных.

Есть земельный участок, есть план. Рассуждать о строительстве привычно-легко: плана нету пока, но сделаем. Будет мечеть. Будет где помолиться Роксане, когда ее выпустят. Вдруг Ксения останавливается — за

всеми этими разговорами она как будто забыла, в каком они находятся положении:

— А ты вернешься? — Вся ее жизнь зависит от ответа на этот вопрос. — Заживешь у меня — хозяйкой. Зачем мне под старость одной такой дом?

Рухшона пожимает плечами: как ей вернуться — после сегодняшнего? Да и чем бы ни закончились следствие и суд, все равно ведь выдворят, депортируют.

Нет, нет, она удочерит ее. Деточка, доченька.

— Совершеннолетнюю? При живой маме? Вздор.

Надо толкового адвоката. Лишь бы она вернулась, повторяет Ксения, и получит всё. А адвокат будет, самый-рассамый. Только вернись!

Нужно ли Рухшоне Ксенино «всё»? Она задумывается — впервые, кажется, за весь разговор. Возможно, ее назначение — обращать несчастных теток в истинную веру, в Единобожие, — там, где она окажется скоро. Вот для чего понадобились сегодняшние события! Рухшоне уже видятся колонны заблудившихся, грешных русских женщин, не обязательно русских — всяких, в одинаковых синих ватниках, серых платках. Она, Рухшона, сообщит им правду, укажет путь.

— Не нужен самый-рассамый, давай попроще. А можно и без него. Не траться на адвоката, Ксения.

— Почему ты так хочешь?

— Не я так хочу. Потом поймешь. А теперь я устала. Иди.

Ксения смотрит на часы: да, время-то... Тяжелый был день. Пусть отдыхает, ей завтра в область. Может, к утру передумает — про адвоката. Как знать? Ксения пробует что-то еще уловить — из ее выражения лица. Но на нем уже ничего не читается, только крайнее утомление. Да, пора. Если б знать, когда снова...

Они прощаются.

— Аллах милостив, — Рухшона угадывает ее мысли. — Еще повидаемся.

Ксения прижимает ее к себе, выше груди не достает, утыкается головой, обнимает и держит, держит, не оторваться...

— Скажи что-нибудь.

— Аллах милостив, — повторяет Рухшона, наносит удар по двери, чтоб открыли. — Иди, иди.

— С наступившим вас, Ксения Николаевна, — кивает головой дежурный перед тем, как за ней запереть. Ксения смотрит недоуменно, словно не поняла.

Она выходит на воздух, вдыхает его, идет через темный город, свой город. Люди спят, она нет, это нормально, эти люди ей вверены. Теперь она знает, кем вверены и зачем. Вот ее дом, позади него она отчетливо представляет себе большую красную башню, самую высокую на много километров кругом.

Глубокой ночью Ксения сидит в прибранной пустой пельменной, улыбается и ест холодное мясо. Душа ее занята насущным: поисками адвоката и связей в области, грядущим строительством, приобретением всей полноты власти. Ксения спокойна: с этим всем она справится.

Больше нету ни опьянения, ни особой усталости, хотя многовато, конечно, было всего для немолодой уже женщины — за один-то день.

— Никто тебя никуда не выдворит, — шепчет она, — моя деточка, доченька. Будешь со мной. В области тоже люди, все образуется. От уродов от здешних избавимся, возьмем в руки город. Заживем по закону, по правде. Работать будем, все вместе. С шестнадцати... нет, с тринадцати лет. Интеллигентов, попов, слабаков всяких, хлюпиков выгоним к чертовой матери. Пить?.. — Ксения останавливается, прислушивается к себе. Нелепость какая-то: что, и не выпьешь уже? — Пить, — решает, — только по праздникам. По большим, настоящим, великим праздникам.

В этих размышлениях она пребывает долго: что называется, до первых петухов, провозвестников ее нового знания, всеохватного. Потом идет спать.

Школьного учителя миновали события сегодняшнего дня. Он провел четыре урока — один из них сдвоенный, участвовал в чаепитии с тортом в учительской — мероприятии пустом, но, в общем, теплом. Потом отправился на речку — посмотреть, не пошел ли лед.

На речке учитель встречает отца Александра — тот пришел за тем же самым и тоже улыбается солнышку. Нет, река все еще подо льдом. С отцом Александром учитель едва знаком и только сейчас замечает, какой у того побитый, болезненный вид. Наверное, он несправедлив к нему.

— Скажите, — вдруг спрашивает священник, — а отчего река не замерзает вся целиком, почему подо льдом вода?

Учитель объясняет: в отличие от других веществ вода имеет наибольшую плотность не в точке замерзания, не при нуле, а при плюс четырех, и потому, когда остывает до нуля, то оказывается наверху. Сверху образуется лед, а под ним остается вода. Если бы не это чудесное ее свойство, то реки промерзали бы полностью и в них прекратилась бы жизнь.

Священник покачивает головой: да, чудо, еще одно доказательство бытия Божия. Река, небо, солнышко — они пребудут, а все остальное — пройдет, перемелется, вот о чем он, по-видимому, сейчас думает.

В такой солнечный день не хочется дома сидеть, и учитель решает послоняться по городу. Перед ним новая «Парикмахерская», через окно он видит свою бывшую ученицу, она ему машет рукой. Действительно, отчего бы ему не подстричься? — он давно не стригся. Она ему моет голову, прикосновения ее теплых пальцев очень приятны. Надо же, двое детей! Учебу, естественно, бросила, да ничему их толком и не учили там. Она не красивая, хоть и милая, про мужа лучше не спрашивать, пока не скажет сама. Как она шустро работает ножницами! А Димку Чубкина он не пом-

нит? Это же ее бывший одноклассник, теперь она Чубкина, неужели он все забыл?

— Знаете, Сергей Сергеевич, ваши литературные вечера — лучшее, что у нас было в жизни, — говорит парикмахерша. — *Когда ты болен и забит...* — как там дальше?

Учитель подсказывает — *загнан*, еще несколько строк, потом уже произносит эпилог «Возмездия» до конца, про себя, целиком. Она сметает с пола отстриженные волосы, он смотрит на них, на нее и думает: Блоку казалось невозможным, чтобы грамотный человек не читал «Бранда», а вот, поди ж ты, он — учитель литературы, и не читал. Что он знает из Ибсена? *Юность — это возмездие*. Кому — родителям? А может быть, нам самим?

Он приходит домой, нелепо обедает, с Ибсеном, так что через полчаса уже не может вспомнить, ел ли вообще. Счастливый, ничем не омраченный, почти бездеятельный день. Вечером с улицы слышится шум, но значения ему учитель не придает. Он ложится в постель и принимается сочинять конец своей исповеди.

Пора сообразить, в чем моя вера, отчего, несмотря ни на что, я бываю неправдоподобно, дико счастлив. Отчего иногда просыпаюсь с особенным чувством, как в детстве, что вот это все и есть рай? Подо мной земля, надо мной небо, и вровень со мной, в мою меру — река, деревья, резные наличники на окнах, весенняя распутица, крик домашней птицы — и тут же — Лермонтов, Блок. Верю ли я, наконец, в Бога?

Основное препятствие между Ним и мной — Верочка. Верочкина смерть не была необходима, смерти вообще не должно существовать. Думать о ней как о месте встречи, ждать ее, как ждешь невесты, — не получается, нет. Смириться, сделать вид, что привык? Мирись, мирись, мизинчик... Очень уж условия мира тяжелы: нате, подпишите капитуляцию. Говорят, Бог не создавал смерти, это сделал человек: запретный плод, все такое. И еще говорят: она — часть разумного процесса, страшно и вообразить, как бы мы жили, не будь ее. Что же, Верочка просто стала жертвой миропорядка, во имя этого умерла? Одни вопросы...

Есть и ответы. Я верю, что из правильно поставленной запятой произойдет для моих ребят много хорошего: как именно, не спрашивайте — не отвечу, но из этих подробностей — из слитно-раздельно, из геометрии, из материков и проливов, дат суворовских походов, из любви к Шопену и Блоку — вырастает деятельная, гармоничная жизнь.

И, наконец, я свободен. «Радуйтесь в простоте сердца, доверчиво и мудро», — говорю я детям и себе. Не сам придумал, но повторяю столь часто, что сделал своим. Таким же своим, как сонных детей в классе, как русскую литературу, как весь Божий мир.

2009, 2012, 2015 гг.